

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК ИСТОРИИ

Александров Н.Н.

Человек на 80% состоит из воды. Но больше, чем на 80%, человек состоит из истории.

Когда общество начинает топтаться на месте, ему явно не хватает идей. Идеи – это топливо общественного времени, и, если притока идей не видно, движение общества может остановиться. Яркие политические страсти, грозowymi разрядами пронизывающие наше общество, – это лишь начало более глубокого процесса переосмысления мировоззренческих основ нашего общества. Политикам некогда заниматься философией и историей; впрочем, это еще не политики, если им некогда. Один из ведущих американских менеджеров начинает свой день с чтения философских трактатов и только потом занимается делами. Этому человека любая фирма готова "оторвать с руками". Но из жизненного опыта любой из нас знает, что ничего скучнее философии в мире нет. "Суша теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет", – любили говорить студенты, не подозревая, что слова принадлежат гётевскому Мефистофелю.

Между тем и до, и во время, и после марксизма фантастически красивая страна философской мысли цвела и плодоносила. Тоталитаризму удалось превратить зерно истины, бесспорно, содержащееся в марксизме, в пять хлебов и накормить этими, порядком засохшими, хлебами не одну тысячу верующих. Но уже тем сухарем, который достался нашему времени от данного учения, можно было вполне забивать гвозди. Сами же гвозди тоже изготавливались при его помощи ("гвозди бы делать из этих людей"!)). Впрочем, фарисейство и у нас не было безграничным: под маркой критики буржуазной философии некоторые ее мысли проникали и проникают в литературу. Например, историю модернизма вполне сносно можно было выучить по ругательным искусство-

ведческим монографиям, если отжать из них воду. Причем, что характерно, современные искусствоведческие работы местами уступают тем, старым и ругательным. Я думаю, мы вынуждены будем ускоренно проходить все те этапы, которые нами не пройдены, переболеть теми же детскими болезнями, которыми человеческая мысль переболела. Однако есть и второй путь: не повторять чужих ошибок, а опережать в мысли идущую историю. Для этого сейчас сложилась уникальная ситуация. Но не чувствуется, чтобы кто-то ставил себе подобную задачу.

Где-то в конце прошлого – начале нынешнего веков в нашей России расцвел неизвестный нам “русский Ренессанс”: это было время сильной социальной напряженности, но именно в этой атмосфере собирающейся грозы получили развитие русская философия, русское искусство и литература, русская гуманитарная наука. Заметьте, не естествознание, не познание природы в целях ее покорения, а именно гуманитарный пласт культуры, хотя и в области естествознания и даже техники Россия занимала не последнее место. Можно только поблагодарить тех большевистских политиков, которые в 1922 выставили из России “цвет нации”, столь обогативший западную мысль. Известно, какая судьба ждала в советской России лидера правых эсеров Питирима Сорокина, ставшего лидером американской социологии на многие годы. Уже издав далеко эти люди осмыслили роль России и смогли предвидеть многое из случившегося и многое из того, что еще случится. Хотя бы поэтому интересно познакомиться, какими путями развивались их мысли. Но куда важнее другое: русская философская мысль, хотя и интегрировалась с западной, все равно осталась особой, неразтворимой и не продолженной никем. Как трудно объяснить нормальному немцу, в чем состоит юмор Ильфа и Петрова, так же трудно западному философу продолжить мысли Достоевского или Толстого. Эта задача специфически наша, и уникальность ситуации в том, что мы и можем, и должны это сделать. Следовательно, необходимо навестать

упущенное и шагнуть за горизонт. Привычная для нас философия диамата идет от мира к человеку, и не она одна. Философия русского Ренессанса конца прошлого века шла от человека к миру. Казалось бы, ну и что, какая собственно разница? Между тем разница огромная, это даже не разница, а пропасть. Как выразился Остап Бендер по поводу финансов, в эту пропасть тоже можно падать всю жизнь.

Важно отметить, что русская философская мысль как была, так и остается совершенно особым полем, со своей проблематикой и своим методом. Этот метод, с одной стороны, раздражает западных философов, в силу чего они придумали “загадочную русскую душу”, тем самым закрыв проблему. Но с другой – достижения русской мысли намного опережали достижения западной, а об этом знают лишь единицы. Бердяев писал, что при чтении столь прославленного Ницше его все время не покидало чувство недоумения: все это, и значительно глубже, уже было у Достоевского. То же самое можно сказать по поводу Данилевского и Шпенглера: теория Данилевского богаче. В чем тут дело? Мне представляется, что, во-первых, русский ментальный цикл не синхронизирован с западным и работы русских не попадают в резонанс с актуальной западной “философской модой”. Во-вторых, западная философия имеет совершенно другой стиль: это либо гегелевский тип неудобоваримых многослойных напластований, вызывающий священный ужас у непосвященных, либо шпенглеровско-ницшеанский стиль “паблисити”, эссеистика как игра по своим правилам. Русские на диво фундаментальны, гораздо фундаментальнее (не дотошнее, а именно фундаментальнее) немцев.

Расцветом любая культурная популяция обязана изоляции. Изоляция поднимает давление пара в культуре. Но нужен был еще и социальный повод, чтобы русская философская мысль окончательно созрела для размежевания и объединения в малые “элиты”. Таким поводом стала первая русская революция.

Русская философия и русская литература

Объединение русских философов происходит вокруг общих сборников (как формальный повод), а шире – вокруг коллективного осмысления глубинных проблем современности, и особенно проблемы Человека. Русская философская мысль шла, отталкиваясь от мыслей Ф.М. Достоевского. Если открыть философский или социологический словарь, то там всегда найдется немало упоминаний о Достоевском, а также статья о нем. В словарях по эстетике и этике ссылок на Достоевского еще больше. Загадка русского писателя состояла в том, что в его произведениях, записках и дневниках не меньше философии, чем литературы. Парадоксальность русского мышления обнаруживает себя в его редкостной целостности: литература не только содержит в себе философию жизни, но и зачастую многократно опережает формулировки профессиональных “чистых” философов. Чем, по-вашему, является “Что делать?” Чернышевского? Литературно обработанной утопией, основанной на отчетливой философии. Более того, каркас логичности просто выпирает из этого произведения, разрушая его ироничную художественную ткань. Или столь популярный недавно Замятин – кто он? Писатель-фантаст или социолог, создавший вполне определенную и почти реализованную модель будущего на тридцать лет раньше почитаемого на западе Оруэлла? Заметим, что способ фантастического моделирования будущего и проигрывания вариантов развития присущ и марксистам: исключенный из РСДРП Богданов (Малиновский) анализирует последствия реализации идей социал-демократов в фантастическом романе, хотя делает это в романтической форме. Недавно переиздана его “Красная звезда” – это и своеобразная литература, и хорошая социология. Впрочем, утопии вообще входят в “три источника и три составные части” сталинского марксизма. Удивительный мир утопии и антиутопии – это целое направление современного философского анализа. Приговор прочел уже Бердяев: утопии страшны тем, что они реализуются.

Но Достоевский и Толстой не писали ни фантастики, ни утопий, ни антиутопий. Они сумели пронести свои идеи через изображение современной или не столь отдаленной жизни. И в подходе к неоднозначным философам у их современников сразу же обнаружилась уже знакомая нам двойственность. “Лев Толстой как зеркало русской революции” нужен был Ленину, воспитанному на идеях русского демократического радикализма. В одной из работ Н.А. Бердяева по поводу художественного мира Гоголя таким образом критикуется эта однобокая тенденция: “Наша критика, – пишет он о Белинском – Добролюбове, – была для этого слишком “прогрессивного” образа мыслей, она не верила в нечисть, она хотела использовать Гоголя для своих утилитарно-общественных целей. Она ведь всегда пользовалась творчеством великих писателей для утилитарно-общественной проповеди”. Отсюда – Гоголь как “зеркало” дореформенной Руси, Толстой – как “зеркало русской революции” – и тут прав Бердяев: тенденция едина, и направлена она от мира к человеку, от общества и его заданности, детерминизма, к личности. Раньше меня, воспитанного на “трех этапах революционного движения в России”, всегда поражала озлобленная, карикатурная критика Достоевским наших демократических радикалистов, скажем, в “Бесах”. Теперь можно спокойно говорить о художественном пророчестве философа Достоевского: все худшее сбылось. Утопии страшны тем, что сбываются. Только к известному 1937 году Бердяеву удалось выпустить свою классическую работу о русском коммунизме, но в этот момент процесс уже стал необратимым – его оставалось только объяснять.

Выбор рационализма

Мысленно возвращаясь к переломной для философии первой русской революции, я думаю и о тех истинных интеллигентах, которые ушли в идеализм, и о тех марксистах, которых выгнали из партии, как Богданова, и о тех, которые не смогли составить никакой оппозиции Сталину, – будь то

начитаннейший “демон революции” Троцкий или “любимец партии” Бухарин. Та самая изолированность, породившая комплекс вины перед народом, как будто подготавливала этих людей к изгнанию и уничтожению. Если провести аналогию, то и в итальянском Ренессансе, и в русском новом Ренессансе интеллигенция никак не воздействовала на власть – украшала, объясняла, призывала, да.

Между тем в истории философии всегда был разряд работ, которые были построены на абсолютном (и в этом смысле аморальном) рационализме – начиная с Ренессанса власть использовала принципы Макиавелли, ничуть не стесняясь прекрасного соседства гуманистов. Мы искренне гордились, что первое советское правительство было и самым молодым, и самым образованным. Если даже это и так, в чем историки уже выражают сомнение, то что же осталось от этого цвета социал-демократии через два-три года? Формирующаяся тирания, которую ни молодость, ни образованность правительства не спасли. Как будут соотноситься власть и культура дальше – это большой вопрос. Сталин очень любил перечитывать Макиавелли. И проблемой выбора вроде бы не мучился. Власть не имеет выбора. Власть неизбежно опирается на рационализм. Рационализм даже не искушение, а философский атрибут всякой современной деспотической власти.

Между прочим, в любом учебнике прикладной социологии, и не только в нашем, Ленин приводится как хороший социолог, открывший и использовавший оригинальные социологические методы для захвата власти. Это – особый тип соотношения философии и власти, когда философия становится идеологией власти, а рационализированные технологии – орудием ее захвата. Кстати, “Философские тетради” В.И. Ленина являлись его личным конспектом по истории философии, не предназначавшимися для опубликования и последующего конспектирования: он явно искал в истории философии зерна нужной ему как политику методологии. И нашел. Но это особая проблема –

проблема рационализма и власти и рационалистических методов “вспарывания” философии. Она не просто актуальна – она становится все актуальнее и актуальнее именно перед лицом выбора.

Карл Поппер всю свою критику гегельянства построил на тезисе о превращении Г.В.Ф. Гегеля в “официального философа” немецкого государства периода экспансии. По сути, он выделил тот же тезис: рационализм есть орудие власти и в этом смысле он нечувствителен к философской критике. Рационализм вне морали. Начиная с Декарта понятие добра подменено в рационализме понятием правильного пути в поисках истины. Это можно свести до известного лозунга его коллеги Паскаля: так будем же хорошо мыслить, это и есть лучшая мораль. Но если Паскаль, как и Ньютон, закончил свою жизнь глубоко религиозным человеком, то Бог у Декарта остался внеморальным Богом. Это хорошо показал М. Мамардашвили в “Картезианских размышлениях”. Нас же здесь интересует сама постановка проблемы: рационализм может облекаться в любые одежды, его суть – технологизация, его взгляд на человека – как на винтик машины, навоз истории. Рационализм всегда близок к власти, начиная с Макиавелли и кончая романтиком Гастевым. Он дает власти инструменты властвования. При этом без мук выбора. Эту проблему осмысляют другие.

Экзистенциальность и ее выбор

Итак, рассмотрим тот исторический контекст западной философии, который существовал параллельно с русской философской школой конца XIX – начала XX веков. Один из отцов экзистенциализма Мартин Хайдеггер впервые стал различать бытие вообще (взгляд от мира у человека) от наличного бытия или “здесь-бытия” (от человека к миру). И это открытие было переворотом в западной философии. Тем самым он открыл уникальность человека: его способность общаться с сутью вещей, стремиться не только к благу, но и к

истине, – но тут же обернул эту уникальную сущность против разума. Вот это-то самое наличное бытие мы никак не можем фиксировать, более того, мы не способны объяснить, почему бытие есть. И когда художники-экзистенциалисты заставили человека пребывать в пограничной ситуации, на грани жизни и смерти, то оказалось, что лишь в этой ситуации человек и способен отбросить быт и открыть бытие. Есть предметы, но нет ничего, что раскрывало бы нам бытие: как на картинах Вермеера, вещи погружены в “световую жидкость”, так и реальные вещи погружены в бытие. Это – свет, в котором видны все предметы мира. Оно (бытие) ничто. Согласитесь, далековато от материализма, но это самый что ни на есть материализм, только другой. Экзистенциалисты и феноменологи охотно признавали, что мир есть и существует независимо от наших ощущений, однако в центре его для них стоял человек. Такой акцент порождает совершенно иной образ мира и отношение к жизни в этом мире.

Поворот к человеку развернул и русскую и мировую философию и вывел ее на новый виток познания. С этого момента становится очень трудно критиковать новейшую философскую мысль, ибо критика “марксистская”, в ее догматическом, постсталинском варианте, уже ничего не способна поделаться с ценностью человека, она методологически бессильна. Более того, бессилён и рационализм, экивоки по поводу которого вынуждены были делать философы 20-х годов. Люди не навоз истории, а ценность – это тот основной тезис, который они отстаивали перед натиском рационализма, говорящего нам во всех вариантах прямо противоположное. Кстати, такое гуманистическое утверждение несколько не противоречит взглядам самого Маркса. Противоречит оно лишь тоталитарной практике и идеологии псевдомарксизма.

Если у Хайдеггера и его последователей сложился один, скажем, немецкий, тип отношений с властью, то другой тип отношения философии к власти обнаружили французские экзистенциалисты. Будучи участниками антигитлеровского Сопротивления, они стали и его идеологами, только

идеологами наоборот: человек свободен, но эта свобода ставит его перед выбором Гамлета. Выбор открывает бездну в личности, ведь ни много ни мало – “быть или не быть, достойно ли” и так далее – до “или погибнуть”. Такой – открывший бездну – человек не только борется против очевидной тирании над личностью, но и способен противостоять “усреднению”, оболваниванию. Он осознает, что он не винтик механизма и не жалкая молекула истории, а уникальное и неповторимое создание природы. Отсюда есть “Я” и все иное, помимо меня, – “Не Я”. Стандартизация тянет в общественную заданность, противостояние стандартизации имеет много вариантов, от “сверхчеловека” Ницше до театра абсурда. Удивительно, как скоро полухудожественные проблемы “меня и иных” переросли в действительно фундаментальную мысль о судьбе человечества, стоящего на грани. Взрыв в Хиросиме поставил человечество на грань ядерной войны, доклады Римского клуба впервые открыли близость экологической катастрофы в цифрах. В этой пограничной ситуации человек уже лишается морального права поддаваться усреднению: ведь равнодушие и конформизм совершенно очевидно ведут к гибели всех.

Проблема выбора

Обратимся за иллюстрацией к сегодняшней жизни. Как-то изучая надписи на свежих могилах, я подсчитал, что умирают у нас не древние старики, а молодые и даже очень молодые люди, много детей. Учителя жалуются на обилие дебилов, полудебилов и просто заторможенных детей. Сопоставить причину со следствием нетрудно, и некоторые “зеленые” делают это лучше меня. Но наш разговор – о выборе: мы по большей части выбрали равнодушие, прекрасно понимая, что подобный выбор ведет нас к гибели. Сказанное мною не имеет ни малейшего отношения к управленческим документам и управленческому выбору оптимальности: там – иные законы. Выбор делает каждый из нас в отдельности, осознавая или не осознавая, что любая

устаревшая технология “беременна взрывом”. Знаменитое “молчаливое большинство” выбирает политику страуса, прячущего голову в песок. Примерно в такую же ситуацию глобального выбора поставлено все человечество, и ее осмыслили “человекоцентристы” в философии. Более того, приступ локальности, национального самозамыкания происходит как раз в тот период, когда нам самое время осознать себя человечеством.

Проблема синтеза

Законы истории на то и существуют, чтобы не они считались с человеком, а человек с ними считался. Мы живем в цикле разобщения, результатом которого должно стать все-таки объединение человечества. И это еще одна тема, наиболее популярно прозвучавшая у О. Шпенглера в “Закате Европы”, – тема изолированности и цикличности развития, почти не известная в нашей недавней философской литературе и не воспринятая нами никак. Приятно, что и у ее истоков стояли русские: основатель интегральной философии и социологии П. Сорокин и уникальный исследователь А. Чижевский. Чтобы говорить об этом направлении, отвлекусь. Когда молодой С. Королев посетил в Калуге стареющего и глуховатого К. Циолковского, он загорелся идеей и понял техническую реальность космических полетов. Получивший довольно аристократическое воспитание, но впитавший и социалистическое “вперед!”, технический гений схватил “главное” – лететь на этом можно! Гораздо меньше занимала его философия К. Циолковского, для которого все технические утопии и не-утопии были всего лишь прикладным аспектом в понимаемых им целях. Зато эти цели вырабатывались долгие годы в провинциальной Калуге в рамках теософского кружка, членами которого были и Циолковский, и Чижевский. Ниточка тянется к тому самому “новому русскому идеализму”, идущему от рафинированного С. Соловьева к Н. Бердяеву и П. Флоренскому.

Двадцатые годы нашего века в этом плане представляют собой удивительный синтез предельного рационализма и новой философии человека: тот же отец П. Флоренский был не только религиозным философом, но и написал классические технические работы. Исследователь солнечных и космических циклов А. Чижевский имел свой философский взгляд, но время требовало вещей практических – он легко перешел на исследование механизма кровообращения (для окончания этой работы он даже попросил оставить его в лагере после срока), затем – проблем аэроионификации – еще не открытого нами достижения, хотя книги написаны и они есть в интернете. Куда сложнее оказывается философская концепция Питирима Сорокина: он открыл всеобщее фазовое самодвижение общества. Если Чижевский сумел предсказать совпадение революций с пиками солнечной активности (“Физические факторы исторического процесса”, 1924), то Сорокин рассматривал исторический процесс как развитие основных типов культуры, в основе которой лежат символы. Как социолог, он стоял у начал “теории стратификации”, предвидя растворение классов в более мелких группах, и теории “социальной мобильности”, предвидя резкое увеличение вертикальных и горизонтальных перемещений в жизни цивилизации. Интересно, что одиннадцатилетний цикл кризисов капитализма был отмечен еще Марксом, которого Сорокин внимательно изучал. При жизни Маркса, в середине XIX века, в России создавался один из первых вариантов теории культурно-исторических типов Н. Данилевского, отсюда тянется социальный циклизм П. Сорокина, из синтеза русского и немецкого, что вообще характерно для новых русских философов. Но все то, что привлекает в русских писателях, и у Ф. Достоевского и у Л. Толстого, обнаруживается в теориях русских философов: социология морали, постоянное присутствие и поиск моральных основ в обществе, становящемся аморальным. Сорокин предпринял исследование морали в ходе европейской истории, естественно, с целью “моральной реконструкции человечества”. За

проявленный глобализм и широкий взгляд на историю П. Сорокина на Западе поставили в один ряд с К. Марксом, обвиняя в создании общесоциологической системной теории. Заметим, такова вообще участь динамических концепций: их обвиняют в неконкретности, нефункциональности, отсутствии сиюминутной прагматической пользы. Так было не только с П. Сорокиным, но уже маячит новый синтез: структурные и динамические исследования сливаются. Горизонтом слияния стало новое направление – междисциплинарный комплекс системогенетики.

Итоги

Подведем итоги. Наметившееся в современной философии противостояние объективного (от мира к человеку) и субъективного (от человека к миру) обнаруживает себя в двух ипостасях: одни пытаются раскрыть структуру мира, общества и человека, другие – его смысл и цели в развитии. Новое, стоящее у порога, – в слиянии. Почему мне хочется думать, что это должны сделать именно русские? В силу многократного объясненного интегративного, всеобщего и вселенского, или, как говорили раньше, “СОБОРНОГО”, характера русской культуры. Интегративная функция России и открыта, и описана самими русскими – это редкий пример саморефлексии на уровне нации. Конечно, все не так просто и в евразийстве, и в разного рода мессианских российских претензиях. Но это – другая область, от философии весьма далекая. Понимая задачу, будем пробовать. И исходить из того, что все новое рождается в провинциях и умирает в столицах.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Мне пришлось учиться в двух институтах, в которых философские науки преподавали бывшие военные. Сейчас я не вижу в этом ничего удивительного: в недавние времена философия у нас была доведена как по форме, так и по содержанию до уровня армейского устава. Задавание “неправильных” вопросов было чревато, по выражению моего бывшего “наставника”, “перманентной двойкой” по предмету и расценивалось как ревизионизм. Но общению с полковниками я научился еще в армии, и мой тогдашний ревизионизм мне почему-то прощали, благодаря чему вы и читаете эту статью.

Долгие годы я исследовал мир эстетического своим методом, который теперь получил название “системогенетики”. Оказалось, что я не одинок и у меня есть предшественники. И это нужно осмыслять, разбираться в этом и соотносить свое с чужим – таковы законы науки. Именно этим мы сейчас и займемся, но для меня важно указать, что можно идти двумя путями: опираясь на исторические традиции и методы исследования, или пытаюсь идти своим путем, до поры до времени не зная о существовании предшественников. Второй путь, может быть, и менее продуктивен, но приносит исследователю значительно больше радости. Кроме того, он и только он способствует укреплению самостоятельности мышления. Я даже думаю, что Декарт и все прочие устанавливали правила для мышления уже после того, как сами справились с этой проблемой. Сравнивать себя с другими в науке следует в тот момент, когда вам удалось осмыслить свое.

Данному положению дел немало способствовала ситуация полного отсутствия информации по интересовавшему меня поводу. Многие приходится в нашей стране переоткрывать заново. Но, повторю еще раз, переоткрытое есть лично открытое, пусть и в неведении о предшественниках: ценность и усилия по личному открытию от этого не уменьшаются. И казусы такого рода в нашей стране не единичны. Например, наш скульптор Вадим Сидур, умерший в начале

перестройки, довольно долго ничего не знал о зарубежном скульпторе Генри Муре и был поражен сходством его и своих работ, когда ему представилась возможность с ними познакомиться. Но он при этом остался неповторимым Сидуром, что признано во всем мире. Ибо было в нем и то, что отличало его от похожего, индивидуальное в рамках общего для того времени стиля. Для него было бы гораздо хуже, если бы его учили на образцах Генри Мура. Вот так и для меня в свое время стало открытием существование мощного течения общей генетики и системогенетики, но это – приятное открытие. Я с жадностью нахожу теперь все это, коллекционирую и читаю, исходя из уже сложившихся своих взглядов. Могу сказать единственное: предшественники открыли многое, но не все. Все открыть не может никто.

По прошествии четверти века я не только смог отличить свое от общего потока циклической мысли, но и понял, что мой аппарат практически никак не изменился.

Этногенетические идеи Л. Гумилева и системогенетика

С тех пор, как выходят в свет долго не печатавшиеся работы Льва Николаевича Гумилева по этногенезу, мне пришлось убедиться, что совершенно другой человек в совершенно других обстоятельствах пришел к тем же выводам, что и я, и даже терминологию применил для тех же целей ту же самую. Перед колоссальной по объему работой великого Исследователя всякие сравнения неприличны, но вопрос идет об инвариантах, количество которых не так велико. Инварианты Гумилева можно сопоставлять с другими системогенетическими инвариантами, и это – дозволенный ход, лишенный личностного сравнения.

По теории Л. Гумилева, этнос как бы “заряжается” энергией, причем он находит обоснование источника этой энергии у Вернадского, и его существование в истории является иссякающим Импульсом. Это – первый “инвариант

Гумилева”, *инвариант импульса*. Но Л. Гумилев отказывался говорить о сферах, не связанных с этногенезом, особенно о социальной форме движения материи и ее энергетике. Можно связать это с опытом его травли, который выработался раз и навсегда в качестве табу: “об обществоведении – ни слова”. Он умер в тот момент, когда про общество уже можно было что-то говорить, но все это только начиналось. По-своему он прав, тем не менее, шаг по перенесению инварианта импульса на историю социума будет неизбежно сделан в науке другими. Точно так же, невзирая на колебания по данному поводу самого Гумилева, его понятие “пассионарности” сейчас в научном мире повсеместно трактуется расширительно. Эта история с расширением понятий-инвариантов была в свое время не раз повторена, например, с понятием “остраненности” у В. Шкловского. Итак, второй “инвариант Гумилева” – *инвариант “пассионарности”*. Он подразумевает наличие надсистемы, в качестве которой у Л. Гумилева выступала биосферная концепция В. Вернадского.

“Импульсные” взгляды Л. Гумилева разворачиваются на материале локальных культур, но и до Л. Гумилева эти идеи высказывались в совершенно иных областях науки, достаточно назвать хотя бы Г. Гегеля. Импульс истории, который в изображении можно выразить затухающей спиралью (так “ведут себя” любые самостабилизирующиеся системы), постепенно становится одной из опор новой парадигмы истории. И источником двух идей – пассионарности и импульсности – является во многом этногенетическая концепция. Переходя в область системогенетики, локальные методы становятся универсалиями. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что намечается метод. Плохо потому, что не исследованы ограничения применимости этого метода.

Анализируя сходство моих исследовательских моделей с импульсными и пассионарными взглядами Льва Гумилева, я вышел на идею “исторического импульса” с другого конца – анализируя циклы и их длительность в истории искусств. То же самое касается пассионарности, которая у меня названа

“переходом доминирования”. В тот момент я шел только от дат в истории искусств, от своей конкретики. Разворачивая локальные циклы, я обнаружил глобальный импульс, одна составляющая которого – биогенез, вторая – социогенез, в совокупности они есть импульс (“веретено”, по первоначальному названию) жизни. Тогда же я предположил, что этому импульсу жизни предшествовал импульс становления неживой материи, а до того – космогонический импульс. Позже совокупность импульсов нанизалась, как на ось, на очень большой надсистемный импульс. Эта система “вложенных импульсов” совпадает с идеей А. Субетто о “вложенных спиралях”, но по понятию импульса я ближе к теории Гумилева. Интересно, что никакой, даже косвенной информации о Л. Гумилеве и о А. Субетто (оба – ленинградцы), в момент формирования циклических идей у меня не было. Это лишь доказывает, что у разных исследователей в одной и той же области может быть наработан лишь ограниченный набор *логик разворачивания идей*. Откуда приходят сами идеи – на этот вопрос ответа пока нет, хотя гипотез можно создать сколько угодно. Итак, у ищущих возникают сходные инварианты по поводу аналогичного. И о них речь.

Я не слишком страдаю от того, что познакомился с историческими предшественниками позже, чем сформулировал свои идеи сам. Теперь я знаю, что существует целая ветвь исторически разных школ, в постулатах которой лежит идея о том, что история человечества есть сходящаяся (близкая к конической) спираль, в которой прогресс идет в форме круговоротов, но круги эти навиты на конус в качестве витков спирали. Да и конус этот не на прямых, а тоже достаточно криволинейный. У такой пространственно обозримой *условно конической* модели были свои, более простые, предшественники.

В истории философии (и в философии истории) можно зафиксировать наличие, как минимум, *трех моделей*: простого круга (модель бесконечного

возврата, беличьего колеса), стрелы прогресса, цилиндрической спиральности (объединившей круг со стрелой).

Интересно, что спиральность неоднократно упоминается у В. Ленина, который воспринял ее от Г. Гегеля и К. Маркса. И, видимо, эта модель восприятия истории была для него объяснительной, ментально важной. Современным историкам такая совокупность идей кажется слишком простой. И, между прочим, они правы, ведь столь упрощенная модель цилиндрической спиральности развития очень далеко отстоит от многослойности исторических хитросплетений. Историческую тенденцию невозможно воспринимать как абстрактную и равномерную винтовую линию, она мало что объясняет в истории. Иное дело, если мы встанем на позицию расчета исторического социального Импульса, обозначенную здесь как “инвариант Гумилева”: коническая спираль достаточно адекватно отражает этапы движения истории человечества в цифрах. Этот ход историки избегают делать, и причин здесь – масса. От взглядов Морозова и Фоменко на историю как на грандиозную мистификацию – до вопроса: а что же является субстанцией истории? К ответу на такой вопрос нужно еще подойти, и идти придется долго.

Теории кругов в истории

Еще в первобытном обществе путем длительных наблюдений была сформирована идея кругового движения, своего рода прототеория вечных возвратов. Надо сказать, что в любых длительно существующих культурах, приобретающих стабильность, вечные возвраты выполняли идеологическую и даже цементирующую функцию. Куда приятнее жить в стабильном, неизменном, понятном мире. Между прочим, именно поэтому в современной передовой прагматичной науке Запада с начала века возобладали круговые представления о времени и культуре, перечеркивающие героические попытки просветителей увидеть мир как непрерывно и линейно прогрессирующий. С

того момента, когда Маркс писал о наличии циклов кризисов перепроизводства в капитализме, прошло не так много времени, но капитализм сумел воспринять здравые идеи циклистов и более-менее стабилизировался. Стабилизированному капитализму необходимо было оправдание его вечности в новейших теориях вечных возвратов “на круги своя”. Проследим исторические истоки этого логического хода.

Марксизм несколько увлекся актуальным для своего времени экономическим детерминизмом, поэтому он не особенно разработал вопрос менталитета, общественного самосознания. Дело в том, что в историческом контексте того времени ситуация была противоположной: Ф. Энгельс жаловался в письмах на засилие культурных историй, в которых ни слова не говорилось об экономике и способе производства. Уже тогда, при жизни Маркса и Энгельса, существовали идеи, связанные с менталитетом. Менталитетом называют «совокупность символов, которая позволяет людям одной общности одного времени наделять одинаковые вещи одинаковым значением». Если мы уйдем от “определяющей роли способа производства”, например первобытнообщинного строя, к его менталитету, то сможем выяснить, что первобытный менталитет в пределе един. Почему нам важен такой переход? Единство мировоззрения, по нашему мнению, вернее позволяет выделять этапы развития человечества, чем “экономические формации”. Стройную “пятичленку” социально-экономических формаций придумал отнюдь не Маркс, а Сталин, после социологической дискуссии 1928–1935 годов. Карл Маркс же анализировал способы докапиталистического производства и к такой “красивой” схеме не пришел, напротив – азиатский способ производства у него существует наряду с феодом и “формацией” не является. Вот почему экономический детерминизм внес массу путаницы в периодизацию истории: и рабовладение как определяющий способ производства было не везде и не до

конца, и феодализм был в массе вариаций и модификаций, которые способом производства не охватываются. Совершенно очевидно, что способ устройства общества, или способ производства, есть производное от идей, а не первичное. Но это предположение как раз и не устраивало Маркса, ибо тянуло к гегельянству и упрощенной схеме идеального детерминизма.

Идеальная детерминация истории трудно определяется. Найти термин для ее фиксации еще сложнее: это задает метод исследования. Наша точка зрения близка позиции М. Барга, рассмотревшего менталитет как основу устройства того или иного общества (его взгляды перекликаются с французской “новой исторической школой”). На самом деле термин неточен, лишь с очень большой натяжкой можно говорить о менталитете человечества. И даже вводимое нами понятие “ментальных формаций” является рабочим названием. Менталитет рабовладельческой формации слишком градуирован, а то общее, что его удерживает, незначительно. И все же, перейдя на позиции идеальной детерминации истории при помощи рабочего понятия “менталитет”, мы обнаруживаем определенную правоту Маркса: менталитет каждой формации предстает единым, невзирая на экономику и ее уклад. Важно, что формация есть. Такой вот парадокс утверждения отрицаемого.

В конечном итоге бытие определяет-таки сознание. Но верно и обратное. Формы восприятия времени зависят от свойственной данной эпохе культуры. Ядром мировоззрения в культуре является представление о космогонии в истории, самоосознание себя во времени и пространстве. Это ядро как бы незримо присутствует на заднем плане во всем, в том числе и в экономике, и этим оказывает то самое обратное влияние культуры на экономику, о котором говорил и Маркс. Нам сейчас очень-очень трудно, а вероятно, и невозможно вообразить себе, насколько первобытный человек не отделял себя от рода-племени, а свое племя – от природы. Приведу такой пример: в захоронениях нашли скелет девушки, принесенной в жертву, но руки и ноги у нее не были

связаны. Это означает: она стала жертвой добровольно и была убита копьем в спину, хорошо осознавая, на что идет. Есть ряд свидетельств, что за право быть принесенным в жертву люди соревновались! Вот эта удивительная неотделимость Я от Мы и лежала в основе первобытного менталитета. Подобное сообщество людей вело свое происхождение от животных, и они могли умирать от голода, но холить свой тотем, например “священную корову” в Индии. Но уже очень рано в этом мышлении исследуется время: до возникновения “первобытного искусства” и ранней письменности существовали календари: вначале – лунный, затем – солнечный и звездный. Вероятно, и эти явления над головой осознавались как живые существа, животные, отсюда столь популярные “зодиаки” – от “зоо” (“животное”) – их было множество вариантов. Восходы и заходы светил и звезд, годовой цикл (огромное достижение!) – эти явления зафиксированы абсолютно во всех захоронениях. А иногда предки оставляют нам невообразимые по мощи свидетельства своих познаний, например первобытную обсерваторию Стоунхендж, построенную из камней, от 30 до 300 тонн весом. Обобщая, можно сказать, что первобытный “циклизм” носил характер, неотделимый от природы: человечество шло по пути выделения актуальных циклов природы. Самой абстракции цикла-круга еще не было, хотя символами уже это отмечали.

Между прочим, неразвитые или чисто сельскохозяйственные страны до сих пор продолжают сильнейшим образом зависеть от циклов природы, что выражается в их менталитете. Известнейшее произведение Г. Маркеса “Сто лет одиночества” отражает восприятие в латиноамериканской культуре того же столетнего цикла, который характерен и для России. Это – природный цикл Солнца, описанный А. Чижевским. Отчетливость русских столетних циклов описана целым рядом исследователей.

Концепция времени в античности

Мифологическое сознание рабовладельческих обществ имеет идею “вечного возврата” как свой основополагающий принцип, но интересно, что время в нем... обратимо. Даже Аристотель уверен, что все повторится до буквальности, и снова греки сразятся с персами. Данный парадокс связан с новым шагом в мифологическом космосе: здесь каждое “Я” причастно к вселенской драме. Поскольку время – синоним порчи, оно старит людей, то Вселенная периодически освобождается от “накопившегося времени” и снова оказывается на “пороге времени”. Происходящее перестает быть единственно неповторимым и самоценным: отсюда – тот удивительный дух жертвенного и гражданственного оптимизма, который соединяет воедино весь менталитет рабовладения. Идущие события совершенно парадоксальным образом лишались самоценности: история раз и навсегда была задана мифом. Но важно подчеркнуть, что история здесь разворачивалась в горизонтальном плане: ее задает не Бог – такова вселенная. Если античной истории Аристотель отказывает в звании науки, считая ее родом литературы, то у этого были причины: историография представляла собой цепь эпизодов с началом, кульминацией и концом. Только у римлян возникла потребность заменить греческий рок понятием Фортуны, в руках которой человек стал игрушкой слепого случая. И здесь возник символ “колеса Фортуны”, происходящий из первобытного “колеса” – символа Солнца. Колесо вращается и несет поочередно невзгоды или процветание. Идея цикличности позднего Рима уже вплотную подводила к фатализму Средневековья.

Концепция времени в Средневековье

Совершенно другое отношение ко времени в менталитете Средневековья. Все причины происходящего на Земле помещаются на небо. История становится обусловленной вертикально, иерархически. Здесь бродит идея

идеальной детерминации истории, но она локализована в Боге. Время от времени человек совершает события, заставляющие Господа реагировать, – из этого и складывается объяснение времени и событий истории. У Августина в раннем христианстве человек наделяется разумом и волей (что потом так понравится Декарту). Свобода воли дается Богом, глупости же человек совершает сам, за что и будет наказан. Но самомнению здесь нет места: без помощи всевышнего человек – прах, даже со своей свободой. Если греки делили мир поначалу на эллинов и варваров, постепенно выделяя их разновидности, то у Августина человечество уже имеет единый источник – “от Адама”, потому что начинается новый импульс в истории. Священная история излагалась в форме четко локализованных во времени и пространстве событий, явление Мессии только вносило в историю мира новый толчок, Импульс. А раз так, то кроме истории божественной скоро понадобилась и светская, и эту историю надо было объяснить не мотивами исторических деятелей, а закономерностью. И, хоть само объяснение могло быть исключительно трансцендентальным, это уже была вполне определенная философия истории. Когда вплотную встала проблема времени, то, по Августину, в отличие от Аристотеля, время получило начало: творение времени одновременно с миром. Надо сказать, что Августин первым столкнулся с парадоксом трех модусов времени: прошлого уже нет, будущего еще нет, так что же такое настоящее? И пришел к выводу, что и настоящего тоже нет. Есть душа – инструмент для измерения движения. И здесь возникает интереснейший момент, мимо которого христианство прошло довольно быстро, зато восточные религии акцентируют его и по сей день: кроме настоящего есть вечное и душа, погруженная в поток времени, способная над ним воспарить в вечность. Специфика прагматичных европейцев не позволила им остановиться – они разрешали проблему деятельно и создали технику. Восточный способ отношений с вечностью, напротив, погружает человека в статичное созерцание и пассы медитации.

В Живой Этике супругов Рерих категория надвременной вечной субстанциональности предстает таким же образом. Что здесь важно: перед нами – продукт того момента истории, когда Восток довольно резко отделился от Запада: взаимоотношения с вечным ими разрешаются по-разному. Это не мешало им быть равными в Средневековье, но уже после XV века европейцы, с их деятельной установкой, колонизируют оставшийся статичным Восток, например Англия – Индию. Так что сей философский вопрос вовсе не так безобидно философичен: менталитет может и законсервировать историю цивилизации, идеальная детерминация – детерминировать остановку в развитии. Но еще более интересно, что “восточные консервы” средневекового менталитета все чаще становятся нужны Западу с начала XX века. Увлечение "Битлз" Востоком показало, что и молодежной контркультуре он тоже необходим.

Принципиальный переворот Средневековья, таким образом, состоял в замене циклического “колеса” на прямую линию. Эта линия имеет начало, а конец ее – в точке Страшного Суда. Античный круг был безысходен, и это потом прекрасно отразит Шпенглер в “Закате Европы”; линейное время Августина выглядело полегче, но было не менее предзадано, детерминистично. Средневековое время имеет точную схему, сценарий событий: творение – воплощение – второе пришествие. Здесь мы находим источник всех “эсхатологий” средневекового типа (в античности были свои) – конечности истории, где конец предначертан еще в начале. И именно воплощение Спасителя как центральное событие придает времени линейность. Колесо слепой Фортуны заменяется – не повторяемость, а единственность воплощения Христа. Возникает уникальная возможность личного спасения за счет моральной жизни по правилам. Вот так и живи, имея в виду будущий Суд, оценивай каждое мгновение эсхатологически. Эта простая и сложная идеальная основа менталитета заставляет христиан быть деятельными: будущее нужно встретить, накопив “справки” о своем старании вести моральный образ жизни. Нормой и образцом

выступали святые и живые пустынники. Выдвинутое в качестве основы линейное время истории заставило Августина искать и критерий развития.

Ничего подобного нет в восточных религиях, особенно в идее Кармы, новых воплощений. Ты можешь искупить прошлые ошибки и трудами своими дойти до уровня Махатм (учителей), но этим ты лишь обретаешь свободу самому выбирать воплощения! Тут перед нами античное, по сути, циклическое, время, спроецированное на средневековое, линейное, только циклическое – по вертикали и линейное – по горизонтали жизненного пути. Поистине удивительны пути человеческого мышления: ни один из вариантов не упущен! Критерий Востока – накопление духовного, критерий Запада – действие. Ибо в первом случае твоя жизнь в воплощениях бесконечна, во втором – единственна.

С увеличением темпа цивилизации эту единственность человек Запада начинает ощущать особенно остро, время ускорилося, и его начинает тянуть сладкая идея не-единственности, идущая с Востока. Отсюда – такая популярность всех вариантов Кармы. Но основоположник средневековой философии истории Августин лишь задал комплекс идей. Его последователи гораздо больше внимания посвящали вечности, чем проблеме времени. Вечность оставалась атрибутом Бога. А у схоластиков заново забрезжили идеи циклизма, ибо Аристотель к тому моменту стал равноправным с Августином авторитетом. Становление внутри феодализма новой социальной практики – ремесла и торговли – потребовало создания часов: определилось профессиональное время, отличающееся от натурального. От отстраненности по отношению ко времени в большей части Средневековья оно переходит к его измерению и учету. Рациональное, деловое время прорывается с середины XIII века. И, когда века спустя зазвонили часы на ратушах, рухнула монополия церкви на время. И если до сих пор история объяснялась религиозно, то в “Откровении Иоанна” впервые была предпринята попытка объяснить ее исторически. И рыцарские, и городские хроники перестали подгоняться под теологическую схему.

Концепция времени в Возрождении

Номиналисты и мистики уже различают истину веры и истину знания. И, хотя до первых буржуазных революций еще не один век, итальянское Возрождение как бы прощупывает будущий менталитет капитализма в рамках идеологии светской интеллигенции. На смену идее корпоративности Средневековья приходит идея “свободной и самоопределяющейся” человеческой личности. Если в прошлом верующий заботился только о мире вечном, то здесь мы ясно видим стремление к земной, прижизненной и посмертной славе. Торжествуй над смертью! Индивидуализм данного времени связан с риском, с неизвестностью, даже с некой авантюризмом жизни. Отсюда снова выкатывается “колесо Фортуны” – доказательство некапиталистического, позднесредневекового феномена культуры Возрождения. Но Фортуна не божество, она скорее “капризная женщина” в историзме Макиавелли. Этой капризнице уже можно было противостоять – добродетелью. Макиавелли советовал “пинать” ее, чтобы сделать покорной.

Главная же заслуга Ренессанса – в переосмыслении социального времени, где оно впервые предстало как историческое. И в нем уже выделялся учтенный конкретный текущий момент. “Используйте время как можно лучше” – это новая этическая ценность, обращенная к человеку и для человека. Оно стало вначале драгоценностью, чтобы позже стать лозунгом янки “время – деньги”. И не ради Суда Божьего, а ради славы и богатства. Деятельность стала мерой интенсивности времени. Внесение точной меры во время и в пространство еще не привело тогда к полной интерпретации социального времени как исторического – поворот совершился только в XIX веке. По сути же ренессансное время было двойственным: линейным и обращенным в будущее и в то же время циклическим, с “колесом”, больше похожим на колебания маятника. Уже в начале XVII века Франсис Бекон больше склонялся к циклическому времени истории.

Возрожденческий циклизм имеет феноменологический характер. Пример тому концепция исторического круговорота Дж. Вико. Отталкиваясь от человека, он выделил в истории три эпохи, сходные с детством, юностью и зрелостью. Божественная эпоха есть эпоха без государства, подчинение жрецам. Героическая эпоха создает аристократическое государство. Человеческая эпоха базируется на демократической республике или представительской монархии. Здесь царят свобода и “естественная справедливость”. После этой вершины, зрелости, наступает упадок и возврат в первоначальное состояние – цикл повторяется. Вико не претендовал на применение его теории для общества в целом, но дал явный импульс последующим циклистам. Дидро и Гегель явно базировались на этом понимании цикла у Вико, активно обсуждая понятия прогресса и регресса. Циклизм Аристотеля им уже тесен. В совершенно ином плане данную проблему решат позитивисты начиная с Конта. Огюст Конт уже смотрит на историю в целом, определяя три стадии: теологическую, главенство религии; метафизическую, где наука спекулятивна; научную фазу, конечно, в свете позитивизма (ибо не сущности познает у него наука, а все, проверяемое позитивно по опыту). Эта линия позитивизма дожила в модификациях до сегодняшнего времени. Так или иначе, она связана с рационализмом, особенно с инструментально ориентированным рационализмом. Эта линия обязательно борется с идеей генезиса, применяя понятия типа “псевдогенез”.

Линия Вико в Новом времени

Мы уже говорили, что именно способствовало возврату идеи циклизма в менталитете капитализма. Конкретно эту идею по отношению к истории развили О. Шпенглер и А. Тойнби – на Западе и Н. Данилевский и П. Сорокин – в России. И, хотя их объединяют как историков-циклистов, это были совершенно разные учения. Сходство лишь в том, что мы видели у Вико, – в инварианте фазовости любого организменного развития.

Освальд Шпенглер, с его историческим релятивизмом (все преходящее), раскрыл историю как ряд циклов культуры – “особых сверхорганизмов, имеющих индивидуальную судьбу и переживающих периоды возникновения, расцвета и умирания”. Его куда больше заботило вскрытие морфологической “души культуры”, выражающей коллективную “душу народа”. Здесь оперирует судьба. Наиболее известный на Западе историк (написавший 12 томов) Арнольд Джозеф Тойнби, по выражению авторов Философского словаря, заменил “теорией цикличности” идею прогресса. Вся история – ряд цивилизаций, проходящих фазы рождения, роста, крушения, разложения, гибели. Две силы действуют в его истории: “смысл истории”, “откровения Бога”, и творческие индивидуумы, или меньшинства, действительно движущие историю. Элита увлекает за собой “инертное меньшинство”. Прогресс же человечества – в духовном самосовершенствовании, от примитивного анимализма через универсальные религии к единой религии будущего.

Питирим Сорокин рассматривает исторический процесс как циклическую флуктуацию основных типов культуры, где в основе – интегрированная система ценностей, символы. Выход, конечно, тоже в развитии особой “идеалистической” культуры. Социальная философия Сорокина базируется на таких символах, как истина, добро и красота: это – строительный материал культуры, обеспечивающий ее преемственность.

Заслугой циклистов была критика европоцентризма, открытие единства мирового процесса через его отрицание. Многообразие путей развития – притягательная мысль для времени плюрализма. Однако многообразие уничтожает идею всемирно-исторического прогресса, ибо культуры рассматриваются как изолированные. Хотя одно никак не противоречит другому. “Но это совсем другая история”.